

Происхождение – два

Меня зовут Михаил Иосифович Лутицкий, я родился в 1954 году в Москве. По национальности – еврей, поскольку оба моих родителя евреи. Так значится во всех документах, и никаких проблем в связи с моим происхождением как будто не должно быть. Но, тем не менее, они возникли – с самой неожиданной стороны и в самый неожиданный момент...

Расскажу всё по порядку.

Семья наша жила в районе Зацепы (город Москва – ред.), около Павелецкого вокзала. Позже родители купили кооператив в Химках, но моё детство и школьные годы прошли там, на Зацепе, в сугубо пролетарском районе, на жизнь которого к тому же влияла близость самого мрачного из московских вокзалов. Родители старались не выпускать меня во двор, так что рос я в отрыве от дворового коллектива, и первый раз меня обозвали жидом в школе, в третьем классе. Я не знал точно, что это такое, и спросил маму. Она объяснила мне, что в нашей стране все люди равны, независимо от пола, цвета кожи и национальности, и дразнить людей за их происхождение – это отвратительный пережиток прошлого и признак бескультурия.

– Но всё-таки, кто такой жид? – допытывался я.

И мама, запинаясь и сбиваясь, объяснила мне, что есть разные национальности – русские, украинцы, белорусы, грузины, татары... Но всё это не имеет никакого значения, поскольку все равны. И вот есть ещё евреи. И мы, то есть папа, я и она, как раз и принадлежим к ним, к евреям. Но всё это совершенно неважно, все равны и никто не лучше и не хуже.

– А кто такие жидаы? – настойчиво добивался я.

Мама вздохнула:

– Ну, видишь, Миша, я сказала уже, что есть такие отсталые, бескультурные люди, которые...

– Жидаы? Они жидаы?

– Нет-нет, – смутилась мама. – Эти отсталые бескультурные люди так называют евреев. Очень плохо, потому что в нашей стране...

Но я не дослушал, я уже начал понимать, что меня оскорбили. И это меня обидело.

На следующий день, дождавшись перемены, я подошёл к обидчику, Генке Емельянову по кличке Крокодил.

– Ты вчера назвал меня жидом? – спросил я громко, чтобы все слышали.

Он ничуть не испугался и не смутился:

– Да, жид. Я сам видел в классном журнале, там написано: Михаил Лутицкий, еврей. У всех – русский, у Верки Савчук – украинка, а у тебя – еврей. Жид, жид!

– Ещё раз обзовёшь меня...

– Жид!

Я бросился на него, сбил с ног, ткнул коленкой в пах. Он взвыл от боли. Для убедительности я треснул его пару раз по башке, назвал „вонючим крокодилком” и удалился от места происшествия. Жаловаться учительнице он не стал.

Должен тут отметить, что это была не первая моя драка. С каких-то пор, довольно рано, я почувствовал своё физическое превосходство над сверстниками и стал им пользоваться весьма охотно. Не то что я был эдаким богатырём необъятной силы – нет, сложение у меня было среднее, да и ростом я не особенно высок. Но очень скоро я понял, что в драке главное другое – смело нападать и бить первым – тактика, никогда не дающая осечки. Я убедился в этом не только на своём опыте, но и вполне на научно-историческом уровне, если можно так сказать. Но сначала несколько слов о моей семье.

Славный клан Лутицких состоял из дедушки и бабушки, их трёх сыновей и семей этих сыновей. Был ещё и четвёртый брат, дядя Исаак, он погиб на фронте в самом конце войны, а три его младших брата по возрасту в действующую армию не попали. Дедушка и бабушка жили на окраине Москвы, в Останкино, в отдельном доме. Старые москвичи помнят этот феномен – частные дома на окраине города. Домик был убогий, ветхий, но все его любили, называли „дворянским гнездом”, а дедушка-бабушка с печалью говорили, что домик рано или поздно снесут, а их переселят куда-нибудь в Коньково-Деревлёво.

Именно здесь, в „дворянском гнезде”, собирался весь клан Лутицких раза три-четыре в год по какому-нибудь значительному поводу: день рождения дедушки или бабушки (когда она ещё была жива), или Первое Мая, или увеличение семьи ещё на одного Лутицкого... Там я встречал своих двоюродных братьев и сестёр, которые раз от раза заметно выросли, и там, на семейных сборах, я слушал не предназначенные для детей разговоры взрослых. Некоторые из них крепко мне запомнились.

Одна такая встреча проходила в начале лета (как я теперь понимаю) 1967 года. Столы были расставлены в тесном дворике за домом, на траве, под деревьями. Я сидел на „детском” конце стола рядом с близнецами Вовкой и Нинкой, детьми дяди Вити, напротив Беллы и Марика, детей дяди Сёмы. Даже не помню, по какому поводу мы встречались, поскольку все разговоры были на одну тему: о только что закончившейся войне на Ближнем Востоке. Разговоры эти не предназначались для детского слуха, и велись вполголоса, но мы отлично всё слышали.

– „...политические последствия...”, „общественное мнение” – говорил дядя Сёма. – Наплевать на всё! Главное – дали этим обезьянам по мозгам, будут знать, сволочи...

Мама тревожно посмотрела в мою сторону, но я делал вид, что поглощён пирогом с капустой. Вообще, дядя Сёма не считался в семье большим интеллектуалом; он занимал ответственный пост заведующего овощной базой Щербаковского района, был весьма состоятелен, первым в семье построил трёхкомнатную кооперативную квартиру, но интеллектуалом его не признавали. Признанным интеллектуалом был дядя Витя, доцент кафедры марксистской философии рыбного института. „Рыбный марксист”, как называл его заглазно мой папа. На реплику брата насчёт обезьян дядя Витя поморщился и веско произнёс:

– Есть устоявшиеся международно-правовые понятия насчёт агрессии и агрессора. Тот, кто первым произвёл выстрел – тот агрессор. Просто и логично. Пройдёт восторг по поводу победы, и что останется? Что евреи напали, что они агрессоры – вот что останется в памяти народов.

– Может быть ты и прав – с точки зрения международного права. Но если бы Израиль попытался соблюдать это международное право, он просто был бы уничтожен в первый день войны, – сказал мой папа. Он в то время был главным технологом обувной фабрики „Па-

рижская коммуна”, и считался в семье человеком здравомыслящим. – Может, в этом случае человечество отнеслось бы к нам сочувственно, но я предпочитаю оставаться живым.

Папин довод показался мне убедительным. Но „рыбный марксист” не унимался:

– Если каждый будет для себя решать, подходит или не подходит ему закон, то цивилизованная жизнь станет невозможной. Мы будем отброшены в первобытные времена.

– Закон дан людям, чтобы с ним жить, а не погибать, – сказал дедушка своим сиплым голосом, и возразить ему никто не посмел.

Дядя Сёма вдруг захихикал:

– А ведь эти самолёты, которые наши накрыли на ихних аэродромах, они же были наши....

Неразбериха с притяжательным местоимением первого лица множественного числа, от которой страдали советские евреи в те исторические дни – „наши сбили тридцать наших самолётов” – можно сказать, родилась за нашим столом в моём присутствии...

В школе международные события тоже не прошли незамеченными. Несколько ребят выразили мне своё восхищение в одинаковых выражениях: „Ну, ваши дали черножопым прос...тсья!” Среди них был и Генка-Крокодил, он искренне восхищался победой Израиля, его ничуть не смущало, что победителями были столь презираемые им жидаы. Но главный урок, который я усвоил тогда на всю жизнь, состоял в том, что в глазах окружающих я был частью того самого ближневосточного народа и был ответственен за всё, что с ним происходит. Мама продолжала внушать мне, что мы все „равные советские люди”, дядя Витя разводил свою „рыбную философию” по поводу агрессии, а я знал, что малейшее изменение политической ситуации в связи с Ближним Востоком немедленно отразится на мне лично.

Так и произошло через некоторое время, когда советская идеологическая машина подняла на высокий градус антисионистскую пропаганду. Как предрекал дядя Витя, восторг от победы помаленьку выдохся. К мысли, что Израиль сильнее соседей, привыкли, воспринимали, как должное, даже как будто не заслуживающее большого уважения: подумаешь, арабы... Чучмеки черножопые. Евреи снова стали объектом издевательских замечаний. Правда, жидами их больше не называли: зачем, когда появилось вполне приличное законное слово „сионист”, которое в сущности означало то же самое? Например: „До чего ж наглые эти сионистские морды!” Хорошо звучит: и заветные чувства выражает, и вполне созвучно официальной пропаганде. Не придерёшься.

Кто такие сионисты на самом деле я толком не знал, но что я знал, вернее чувствовал всей душой, это что свой окончательный выбор я сделал, что я нашёл цель своей жизни, и этой целью была израильская армия. В своих мальчишеских снах я видел себя израильским офицером...

...Я долго смотрел на часы, пытаюсь сообразить – три часа ночи или дня. Глаза слипались, в голове стоял гул. Я так и задремал, не разобравшись со временем. Проспал, наверное, минуту, а может – две, а может и час. Проснулся оттого, что над самым ухом кто-то настойчиво твердил: „Капитан, капитан!”. Так и есть – Мизрахи.

– Там среди пленных мы обнаружили... Какие-то не такие.

– Ну, какие не такие? – спросонья я был раздражён. – Иорданцы, что ли? Или сирийцы?

– Да нет. Форма незнакомая, и по-арабски не понимают.

Пришлось встать и пойти с ним.

Прямо на песке, шагах в пятидесяти от наших танков, расположилась группа египетских пленных. В те дни они сдавались тысячами, никто их не охранял, у нас были другие дела. Мы их обезоруживали и так и оставляли сидеть на песке до подхода тылов – на жаре, без еды и питья. Не гуманно, но у нас у самих не было ни того, ни другого.

Конечно, это был день, я понял: три часа дня. В центре группы я сразу увидел четырёх человек, тоже, как и все одетых в лохмотья, но лохмотья бывают разные по происхождению. Это были, несомненно, остатки советской военной формы. Да и лицами они сильно отличались от чернявых, худых египтян.

Шагая через лежащих на земле, я приблизился к ним. При виде офицера, они поднялись. Старший из них, майор, отдал честь и обратился ко мне по-английски. Ничего не поняв, я сказал по-русски:

– Кто вы? Откуда здесь взялись?

Их реакция на русский язык была двойкой: с одной стороны, они обрадовались возможности объясниться, а с другой стороны как-то насторожились.

– Мы советские военнослужащие, в Египте находимся в качестве технических консультантов по вооружениям. В военных действиях не участвуем. Требуем немедленно отправить нас в какую-нибудь нейтральную страну, – сказал майор. Его решительные слова явно не соответствовали просительному тону и растерянному выражению лица.

– Никто вас не удерживает, майор. Пожалуйста, на все четыре стороны... – я показал рукой на простиравшуюся вокруг безжизненную пустыню. Майор замолчал и опустил голову. В этот момент я почувствовал, что кто-то теребит меня сзади за рукав. „Отстань, Мизрахи” – хотел я сказать и обернулся. Это был один из четырёх советских пленных:

– Лутицкий, Мишка! Не признаешь?

Я пригляделся. Грязная белая майка, намотанная на голову наподобие чалмы, прикрывала лоб и глаза. И тем не менее, я различил что-то знакомое... О, чёрт! Неужели он?

– Крокодил, ты?..

В октябре 1969 года я вступил в спортивный молодёжный клуб Москворецкого района, в секцию бокса. Тренер секции, Геворк Ашотович Мкртчян, пожилой армянин, которого все называли „дядя Жора”, находил у меня способности. И правда, на районных соревнованиях весной я занял второе место в своей категории, проиграв по очкам финальный бой здоровенному парню из 519-й школы.

– Ты думаешь, ты проиграл, потому что он физически сильнее? – говорил дядя Жора, – Ты проиграл, потому что подумал, что он сильнее, понимаешь? Нападай в самый неожиданный момент, бей первым и сразу изо всех сил... – Оглянулся по сторонам и шёпотом добавил: – Как ваши арабов... – И залился счастливым смехом.

А чемпионом района, замечу между прочим, я таки стал на очередных соревнованиях. Нет, я не побил того здоровенного парня из 519-й школы, я просто сбросил полтора килограмма веса и перешёл в более лёгкую категорию. „Всех перехитрили”, – подмигнул мне дядя Жора.

Настоящим потрясением стало для меня убийство израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде. Я видел себя среди этих одиннадцати атлетов и старался представить

себе, что бы я делал на их месте... Не меньшей травмой, чем само убийство, была реакция на событие окружавших меня людей. Они не скорбели, даже не сожалели – они досадовали, что показ игр по телевидению был приостановлен на три дня. И были рады, когда игры возобновились.

Я не могу здесь жить, я должен жить в своей стране, среди своих людей. Вопрос оставался за „малым“: как мне уехать в Израиль, когда мои родители даже слышать об этом не хотят? Правда, мне вот-вот должно было исполниться восемнадцать, и по советским законам я становился как бы полноправным самостоятельным гражданином, но кто же всерьёз с этим считается? Ведь есть правило, что без согласия родителей никто уехать не может, независимо от возраста...

Я попытался завести об этом разговор с мамой.

– Мама, я хочу жить в Израиле. Если вы с папой не хотите ехать, отпустите меня одного.

Уже не первый раз я заводил разговор с родителями на эту тему. Все разговоры кончались ничем. На этот раз я решил сменить тактику и идти до конца. Я специально завёл разговор один на один с мамой, до прихода отца – надо штурмовать их поодиночке.

– Выкинь из головы, – сказала мама, сдерживаясь. – Ты никуда не поедешь, мы уже об этом говорили.

Другого ответа я не ждал.

– В таком случае я попаду в армию. По-твоему, это лучше, чем Израиль?

– В Израиле ты тоже попадёшь в армию.

– В израильскую армию. Большая разница. В своей стране, в своей армии, среди своих людей...

Мама как-то странно взглянула на меня и вдруг заплакала.

– Почему ты думаешь, что будешь там своим? – сказала она сквозь всхлипывания. – Там тоже есть и злоба, и вражда. Люди везде люди...

– Да, но если меня там кто-то невзлюбит, то это за мои личные качества, а не за то, что я родился евреем.

Я никогда не видел её такой. Она побледнела, лицо её исказилось короткой судорогой. Словно через силу, тихим голосом она отчётливо проговорила:

– Миша, ты не родился евреем. Мы не хотели тебе говорить, но ты вынуждаешь... Ты не еврей.

С этими словами она подошла к шкафу, где хранилась полученная по наследству от бабушки серебряная посуда, отперла ключом нижний ящик, извлекла оттуда завернутую в пергамент бумагу и молча подала мне. Пожелтевший от времени официальный документ с гербом РСФСР был озаглавлен: „Свидетельство об усыновлении (удочерении)”...

„Дворянское гнездо” состояло из двух маленьких комнатушек и кухни. Несколько лет назад, когда дедушка был здоровее, он с помощью соседа плотника Степана Степановича пристроил к домику веранду. Затем последовала изнурительная тяжба с архитектурным надзором, который требовал снести веранду. Но, в конце концов, путь к сердцу начальника

надзора был найден (традиционным способом), архитектурная власть уgomонилась, а веранда стала любимым местом семейных встреч с дедушкой-бабушкой.

В тот раз, когда я неожиданно приехал один среди дня в „дворянское гнездо”, дедушка сидел на веранде за столом, на котором разложены были игральные карты, и попыхивал трубкой. Мы обменялись обязательными поцелуями, я сел против него, и замолчал, не зная, с чего начать. Он тоже молчал, поглощённый пасьянсом, и только изредка поглядывал на меня. Наконец, он смешал карты, вынул изо рта трубку и сказал:

– Я знаю, они тебе сказали...

Он снова раскурил трубку.

– Я с самого начала говорил им, твоим родителям: не нужно скрывать. Это глупо. Всё равно он узнает, так или иначе узнает. И это может случиться в самый неподходящий момент, как теперь вот...

– Мне мама сказала. Даже документ показала.

– Вот-вот. – Он постучал картами по столу, собирая их в колоду. – Ну и что теперь?

– Не знаю, дедушка, не знаю! Есть какой-нибудь способ стать евреем?

– Зачем тебе? Ты и так еврей.

– Да нет же, нет! Я свидетельство об усыновлении видел, там моё имя... ну с которым я родился. Афонин Николай Фёдорович. Коля. Какой это еврей?

– Подожди, подожди, – дедушка снова запыхтел трубкой. – Во-первых, кто сказал, что Фонин... или как там?... не может быть евреем? Мало ли какие имена и фамилии у евреев бывают? Со мной в лагере сидел Бондарев, Николай Борисович – религиозный еврей. Правда, он себя называл Калман, но по документам он был Николай. Посты и праздники отмечал, календарь помнил наизусть. Посты-то отмечать легче: голодными ходить привыкли, а вот праздники, например Песах... где мацу взять?..

Дедушка никогда не скрывал, что просидел шесть лет в советских лагерях за „хозяйственные преступления”. Сыновья были недовольны его бесшабашной откровенностью, они бы предпочли, чтобы этот факт нигде и никогда не фигурировал. Но дед им возражал:

– А чего, собственно говоря, я должен стыдиться? То, что я делал, ни в одной цивилизованной стране мира преступлением не считается. Нормальный бизнес. Это они, кто меня посадили, должны стыдиться.

До посадки он был снабженцем в каком-то трикотажном кооперативе.

– Во-вторых, – продолжил он, – как тебе это свидетельство помешает, ведь там национальность не проставлена, а по паспорту ты еврей, верно?

– В ОБИРе требуют метрику. Они докопаются, что я не еврей.

– И что из того? Разве мало уезжает русских жён со своими евреями? И русские мужья с еврейками-жёнами? И ты можешь ехать со своими родителями... если они когда-нибудь выберутся, конечно.

И тут я сказал то, что меня тревожило, наверное, больше всего:

– Но я буду для евреев чужим. Для своего народа – чужой...

Голос прервался, я с трудом удержал слёзы.

Дед перестал пыхать трубкой и посмотрел на меня пристальным взглядом:

– Это не простой вопрос. – Он задумался – Это правда, что наш закон считает евреем того, кто родился от еврейки. Но! Но есть также и другая категория евреев – те, кто принял иудейскую веру. О! – он поднял вверх свою трубку. – Вдумайся, что это значит. А то, что для определения еврейства важен фактор духовный, а не физический. Понимаешь? Если какой-то человек совершил гиюр, то есть перешёл в еврейскую веру, что это значит? Говоря современным языком, это значит, что он хочет быть частью еврейского народа, разделять судьбу других евреев. Он ощущает себя евреем. Вот и получается, что в целом – это вопрос принадлежности. Ты ощущаешь себя евреем – значит ты еврей.

Конечно, это было очень утешительно, но я понимал, что на самом деле всё не так просто. По выражению лица дедушка догадался о моих сомнениях.

– Нет, ты не подумай, что я отрицаю гиюр. Но ты ведь не религиозный, для тебя гиюр был бы только формальностью. – Он подумал и покачал головой. – Хотя пройти обрезание необходимо, иначе ребята тебя в бане засмеют. И девушкам придётся что-то объяснять...

Осенью меня призвали в армию. Для спортсменов, как известно, армейская служба проходит совсем иначе, чем для прочих граждан: ни той муштры, ни скудности питания, ни дедовщины, ни, тем более, настоящей войны я не испытал. На первых же соревнованиях я стал чемпионом военного округа в среднем весе и, так сказать, видной персоной. Обо мне написали в газете, я выступал на всяких сборах и митингах, мне разрешались внеочередные отпуска и отлучки. Товарищи по службе относились ко мне, в целом, хорошо, хотя, где мог, я подчёркивал свою национальную принадлежность. Когда случалось вместе с ними выпивать, мне нередко приходилось слышать: „Ты классный мужик, хоть и еврей”. Я не обижался, наоборот, мне даже нравилось, что они это знают и помнят.

А я помнил об этом всегда. И мучительно думал. Ну а если бы меня действительно родила моя мама, был бы я другим человеком? Наверное, да, хотя меня воспитывали бы те же родители. И наоборот – если бы меня не усыновили Лутицкие, каким бы я стал? Как бы я относился к евреям, например? Тоже считал бы, что все они жадные, наглые и трусливые? Так где же граница между врождёнными свойствами человека и воспитанием, то есть влиянием среды? Тогда мне казалось, что на эти вопросы есть ответ...

В 1975 году я демобилизовался. Родители настаивали, чтобы я поступил в институт, а у меня была совсем другая цель – Израиль. По спортивной линии меня устроили на какую-то работу на какой-то вагоноремонтный завод, куда я заезжал дважды в месяц расписаться в ведомости, а на самом деле тренировался и выступал за общество „Локомотив”. Это давало мне свободное время для сбора бесчисленных документов, прилагаемых к заявлению об эмиграции.

Документы я начал собирать сразу, как только вернулся из армии. Вопреки опасениям, вопрос о моей национальной принадлежности не вызвал в ОВИРе никаких сомнений. Собственно, он даже не возникал: раз я и оба моих родителя по паспорту евреи, то какие могут быть сомнения? Что касается моей биологической матери Валентины Афониной (имя отца в свидетельстве даже не фигурировало), то она добровольно отказалась от своих родительских прав, подписав соответствующую бумагу в момент усыновления. Логика здесь нет никакой, но мне и не нужна была логика, а нужно было разрешение на выезд на постоянное место жительства в государство Израиль. А уперлось всё в согласие родителей...

По советским правилам (если кто забыл) к заявлению об эмиграции полагалось приложить письменное согласие родителей: так, мол, и так, материальных претензий к сыну у нас нет, пусть себе едет. Но многие боялись подписывать такой документ, не без оснований полагая, что при недобром желании его можно истолковать не просто как нейтральное согласие – дескать, не возражаю – а как активное пособничество изменнику и перебежчику. „Мало того, что не сумел воспитать своего сына патриотом социалистической Родины, ещё и по-такает ему в предательстве!” Так объяснил мне свой отказ отец.

– Ты понимаешь, что они мне тут устроят после твоего отъезда? – спрашивал он звенящим голосом. „Они”, надо понимать, это родная партия и советская власть. – Они же меня уничтожат, работать не дадут, со всех постов прогонят...

Довод, конечно, ужасный, но, увы, смысл он имел, а вот мамины рыдания и вскрики вовсе не имели смысла. Она напирала, главным образом на моё происхождение: „Ты там будешь чужим, они не простят тебе, что ты русский...” Я догадывался, что это полная чушь, но согласие на мою эмиграцию она не подписывала. И отец тоже.

С тоской и стыдом вспоминаю теперь этот период моей жизни. Родители осыпали меня упрёками, что я неблагодарный сын, что не считаюсь с ними и укорачиваю их жизнь. В ужас приводил их тот факт, что я не получаю высшего образования, а вместо этого занимаюсь боксом – „самым отвратительным спортом, мордобоем, как пьяные на улице”. В конце концов, отношения у нас накалились до того, что я по несколько дней не приходил домой, ночуя в спортивном клубе или у кого-нибудь из друзей. И когда отец мне однажды сказал, что в следующее воскресенье я должен быть у дедушки, которому исполняется семьдесят пять лет и у которого собирается вся семья, я поначалу сильно сомневался – идти или не идти. А что если там опять возникнут разговоры о моём отъезде, и вся семья дружно навалиться на меня? Но любовь к дедушке всё же оказалась сильнее моих страхов.

Как обычно я сидел на „детском” конце стола, среди своих двоюродных братьев и сестёр, которые явно больше не относились к категории детей. Я не видел их года три, за это время они стали взрослыми. Близнецы Вовка и Нинка, отпрыски „рыбного марксиста”, оба учились в Ихтиологическом (то есть рыбном) институте. Марик перешёл на третий курс юридического факультета, его сестра Белла поступила в институт культуры. Из невзрачной, длинноносой, чернявенькой девочки она превратилась в стройную красавицу блондинку с большими тёмными глазами и пикантным вздёрнутым носиком. „Гелт махт шейн” („деньги делают красивой”) – говорила покойная бабушка в таких случаях... Её папа, дядя Сёма, по-прежнему возглавлял овощную базу районного масштаба.

Меня не зря тревожил вопрос об отношении семьи к моему отъезду. Едва поздравили деда с круглой датой, выпили за него, как главу всей нашей семьи, дядя Витя громко сказал:

– А вот лично меня интересует судьба моего племянника Михаила. Ну, чемпион по боксу, хорошо. А что дальше? – И непосредственно ко мне: – Учиться ты намерен, или так всю жизнь и будешь... морды бить?

Кто-то засмеялся, а дядя Сёма подпустил:

– А что, набить морду кому следует – тоже наука...

Как можно спокойнее, будто речь шла всего лишь о поступлении в институт, я ответил:

– Да, учиться собираюсь. Но не здесь, а в Израиле. Я уеду туда, как только мои родители подпишут разрешение.

За столом наступила мёртвая тишина. Слышно было, как в соседнем доме, у Степана Степановича, кто-то пытался играть на гитаре „Подмосковные вечера”.

Первой заговорила мама. Надрывным голосом она сказала:

– Ни за что! Мы думаем, прежде всего, о твоём благе. Ты там пропадёшь...

Затем высказался Марик:

– Ты извини меня, мы конечно братья, двоюродные... Но я не понимаю. Ведь здесь твоя родина, как можно?... Что тебе этот Израиль? Ещё одна чужая страна, как Занзибар какой-то или Непал. А здесь ты родился...

– А между прочим, когда нужно было идти в армию, служить родине, так Миша таки пошёл, а ты освобождение получил, – вдруг вмешался дедушка.

– И правильно Миша делает, я бы тоже уехала отсюда, – сказала Беллочка и мечтательно улыбнулась.

Дядя Витя счёл необходимым навести идеологический порядок:

– Помимо всего прочего, – сказал он веско, – речь идёт о переселении из социалистического общества в капиталистическое, то есть как бы назад во времени. – Он сделал паузу и поглядел на своих детей, Нинку и Вовку. – Одна эта противоестественная ситуация уже чревата тяжёлыми последствиями для потенциальных эмигрантов. Вдумайтесь: люди, выросшие в условиях социализма, оказываются в обществе, где действуют беспощадные законы конкуренции, чистогана, рыночных отношений, где человек...

– А может быть, кого-то это устраивает! – прервал дядю Витю дедушка. Его обычно тихий голос звучал очень твёрдо. – Я хорошо знаю, что такое социализм и капитализм не боюсь. Не пугай меня.

Тут за столом поднялся невообразимый шум, все пытались выразить своё отношение к социализму и капитализму, и никто никого не слушал. Когда шум несколько улёгся, слово взял мой папа:

– Мы тут ведём спор о сложных политэкономических вопросах – настолько сложных, что даже близкие родственники договориться не могут. И не надо их обсуждать. В конце концов, речь идёт о нашем сыне, Мише, и мы говорим, – он положил свою руку на мамину, – что не позволим ему сделать эту глупость.

Мама сокрушённо покачала головой.

И тут заговорила тётя Нюся, Витина жена, мать Вовки и Нинки. Обычно она молчала – за неё высказывался её муж, „рыбный марксист”. А тут вдруг оказалось, что у неё есть голос и своё мнение:

– Ты напрасно так говоришь, Иосиф, – обратилась она к моему отцу. – Он взрослый человек, он вступает в самостоятельную жизнь, а ты: „не позволим”, „не пустим”! А если, представь, у него здесь не выйдет что-то, не сложится. Он же будет вас винить, что вы ему жизнь испортили... Нет, в такой ситуации становиться детям поперёк дороги нельзя.

Воцарилась напряжённая тишина. „Трудно высказать и не высказать всё, что на сердце у меня” – наигрывала гитара в соседнем доме. Дедушка сказал:

– Нюся права – взрослым детям не надо мешать жить. вспомните, мы с покойной вашей мамой когда-нибудь вам мешали? Мы никогда не говорили „не смей делать так, а делай вот эдак“. Хочешь учиться, учишься, не хочешь – твоё решение. Даже когда вы будущих жён приводили. Мы могли сказать: эта нам нравится больше, а эта меньше, но окончательный выбор всегда за вами. Сам решай, тебе жить. Нет, Иосиф, ты не можешь строить его жизнь по своим понятиям.

Что после этого произошло с моими родителями, я не знаю, наверное это относится к глубинным тайнам человеческого сознания. Может быть, дедушкины слова повлияли на них, может ещё какие-то причины, но в один прекрасный день они сдались. И подписали! Через неделю я отнёс документы в ОВИР в полном комплекте, а ещё через пять месяцев получил официальное разрешение на эмиграцию. Нет слов, чтобы описать моё счастье. Я готов был обнять весь мир, всех любить и жалеть. Впрочем, не совсем так. Нашлось, как минимум, одно исключение...

Буквально за два дня до отъезда, когда сборы шли полным ходом, в дверь нашей квартиры позвонили. Мама открыла: „Миша, к тебе!“

Я вышел в прихожую. Рослый парень. Присматриваюсь – такое впечатление, как будто видел его раньше. Вглядываюсь – Бог ты мой! Крокодил. Ну, прямо как в моих грёзах про советских военнопленных в Египте...

– Что, неожиданно? Я понимаю. Вот прощаться пришёл.

Мы обменялись рукопожатием.

– Счастливо тебе на новом месте. – Он замялся, посмотрел по сторонам, прокашлялся. – Видишь ли, у меня просьба есть к тебе. Надеюсь, не откажешь?

– Что за просьба? Я ведь улетаю через два дня.

Это было не слишком любезно, но Крокодил лучшего не заслуживал.

– Об этом и речь. Пришли мне из Израиля вызов, будь так добр. Вот на этой бумажке все мои данные: год рождения, адрес... всё что полагается.

– Но с какой стати? Ты же не еврей?

Он вздохнул:

– Еврей, в том-то и дело, что еврей. Во всяком случае, для отдела кадров – еврей. Отец мой, действительно, был русский – Емельянов. Но я его никогда в жизни не видел. А вырастила меня мама, Дора Савельевна Гинзбург. Так что по еврейскому закону я полностью еврей, а для отдела кадров – подозрительная личность. Сейчас знаешь какие анкеты в отделе кадров? Не то что кто мама, а всех бабушек-дедушек наизнанку вывернут. Я уже три года не могу в приличный институт попасть...

Я никак не мог справиться с обрушившейся на меня новостью.

– Постой. В третьем классе, когда ты дразнил меня жидом, ты же знал, что твоя мама еврейка. И позже, когда кричал про пархатых сионистов. Ты же знал?..

– Конечно знал. Что я свою мать не знал? Но ты пойми: я боялся, что в школе узнают. И дразнить меня будут. А ты не припомни зла...

Но, грешный человек, я припомнил. И не послал ему вызов из Израиля, хоть он полный галахический еврей – в отличие от меня... Впрочем, теперь и я вполне законный еврей: в Израиле прошёл гиюр. Никто от меня этого не требовал, но я сам не хотел начинать новую жизнь с обмана. Так что в бане ребята надо мной не смеются, и девушкам ничего объяснять не надо, всё как полагается... В процессе подготовки к гиюру узнал много такого, о чём никогда и не слышал. Меня это увлекло. Очень уж религиозным я не стал, но субботу и праздники соблюдаю, и кошер стараюсь соблюдать. Служу в армии. Бокс сменил на боевые искусства – как их преподают в израильской армии. Сам уже не выступаю, стал тренером, учу молодых солдат. Недавно мне присвоили звание капитана. Пока не женат. Вот, пожалуй, и всё.

А родители? С родителями всё в порядке. Приехали через три года после моего отъезда, поселились в Хайфе. Живы и почти здоровы. Барух га Шем!

Владимир МАТЛИН.